

ЗЕМЛЯ И ДЕНЬГИ

© 1993

А. Г. Вишневский



ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОД



Вишневский Анатолий Григорьевич — доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института проблем занятости Российской академии наук.

Отставание и догоняющее развитие

«Русский кризис — это в особенности и прежде всего кризис сельскохозяйственный», — писал в своей книге, изданной в начале XX века во Франции и в США, Павел Милюков¹. Оценка эта верная, но неполная. Ибо необратимый кризис сельского хозяйства как экономического фундамента русской жизни, поставил перед последней чертой все стоявшее на этом фундаменте русское аграрное общество. Это был его кризис, знак все более осязаемого отставания сельской России от становившихся все более промышленными и городскими стран Запада.

В начале XX века отсталость России была признана всеми — от радикальных критиков из революционно-демократического лагеря до автора книги, изданной по случаю трехсотлетнего юбилея дома Романовых и призванной продемонстрировать успехи России, показать, что «экономический рост страны поражает своими размерами». «Благополучие широких народных масс, их образованность, народное богатство, культурное развитие не могут идти почти ни в какое сравнение с таковыми же на западе Европы и в Америке», — читаем мы в этом верноподданническом сочинении². Вот лишь несколько беглых иллюстраций предреволюционной российской отсталости.

Промышленность: по объему промышленного производства в 1913 г. Россия в 2,5 раза уступает Франции, в 4,6 раза Англии, в 6 раз Германии, в 14,3 раза — США. Производство на душу населения угля 209 кг (в США 5358 кг), чугуна 30 кг (в США — 326), электроэнергии 14 квтч (в США — 176). Потребление хлопка на душу населения в России 3,1 кг, в США — 14³.

Сельское хозяйство: средняя урожайность хлебов в 1909—1913 годах — 45 пудов с десятины — в 2 раза ниже, чем во Франции, в 3,4 раза ниже, чем в Германии. Производство хлебов на душу населения в России — 26 пудов, в США — 48, в Канаде — 73. Потребление минеральных удобрений — 6,9 кг на гектар посева, во Франции — 57,6, в Германии — 166, в Бельгии — до 236 кг на гектар⁴.

Национальный доход: 102 руб. на душу населения в 1913 г.

ЧЕЛОВЕК 3/93

¹ Milioukov P. La crise russe. Paris, 1907. P. 323.

² Милютин П. П. Экономический рост Русского государства за 300 лет (1613—1913). М., 1913. С. 220, 222.

³ Лищенко П. И. История народного хозяйства СССР. Т II. Капитализм. М., 1948. С. 288.

⁴ Там же. С. 276—277.

5

ЧЕЛОВЕК
3 1993

ISSN 0236—2007



⁵ Вайнштейн А. Л. Народный доход России и СССР. М., 1969. С. 68.

⁶ Там же. С. 348.

⁷ La mortalité des enfants dans le monde et dans l'histoire. Ed. by P.-M. Boulanger et D. Tabutin. Liège, 1980. P. 147—149.

⁸ Мигулин П. П. Указ. соч. М., 1913. С. 221—222.

⁹ Ключевский В. Курс русской истории. М., 1937. Т. III. С. 278.

¹⁰ Там же. С. 276.

¹¹ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 15.

¹² Розанов В. В. Психология русского раскола // Розанов В. В. Т. I. Религия и культура. М., 1990. С. 76.

6

(по другим оценкам — от 101 до 114 руб.⁵), то есть ниже, чем в Германии, в 2,9 раза, Франции, — в 3,5 раза, Англии — в 4,3 раза, США — в 6,8 раза⁶.

Младенческая смертность: в 1906—1910 годах. 269 на 1000 родившихся; во Франции в эти же годы — 128, Германии — 174, Англии — 117, США — 121 на 1000⁷.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни: в 1907—1910 годах у православного населения России 32 года для мужчин, 34 года для женщин. В то же время во Франции соответственно 47 и 50 лет, в Германии 46 и 49, в Англии 50 и 53 года, в США 49 и 52.

«Россия, как и все другие культурные государства, сильно шагнула вперед в деле своего экономического и культурного развития, но ей придется еще много потратить усилий, чтобы догнать другие народы, далеко ушедшие от нас вперед», — читаем мы в той же книге об экономическом росте России⁸.

«Догнать» — ничего нового в этом слове для русского уха не было. Многие страны, целые континенты вступили в полосу догоняющего развития в двадцатом веке. Но для России эта полуса началась намного раньше — по крайней мере, в XVII столетии, когда, по мнению В. Ключевского, русское общество впервые заметило, что его западные соседи достигли каких-то необычных успехов, и обнаружило «все очевиднее вскрывавшуюся в войнах, в дипломатических сношениях, в торговом обмене скудость собственных материальных средств перед западноевропейскими, что вело к осознанию своей отсталости»⁹.

По мере того, как отставание все больше дает себя знать, «в московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей отсталости»¹⁰.

Россия, уже ощутившая себя мощной державой, уже привыкшая одерживать победы, расширять территории и диктовать свою волю соседям, неожиданно оказалась перед выбором: смириться с отставанием и отказаться от своего положения влиятельной силы на европейской политической арене или не уступить, броситься вдогонку Западу и утвердиться — так Третьим Римом среди уважительно раступившихся соседей. Выбор, впрочем, был сделан очень быстро. В России, видимо, уже проснулось то, что Бердяев позднее назвал «инстинктом государственного могущества»¹¹. Догнать и утвердиться — иного выбора и не могло быть.

Решающее слово произносит Петр I. Он твердой рукой проводит глубокие реформы, охватившие все стороны жизни народа и государства, преобразовавшие в той или иной степени административное управление, экономику, военное дело, церковь, просвещение, частную жизнь, и, казалось бы, вырывает страну из отставания, превращает ее в могучую империю. «На главный мотив реформы России — мотив *самосохранения* эта реформа и ответила твердым, умелым *да*»¹². Такая оценка петровских реформ пользуется если не единодуш-

ным, то все же весьма широким признанием. «Европеизация» — термин, которым оперировали историки самых разных направлений. «Модернизация» русского народа, его вхождение в круг европейских наций являются существеннейшими чертами петровской эпохи — причем не только для главного научного выразителя и защитника этой точки зрения С. М. Соловьева, но и для славянофилов и западников. Термин «европеизация», которым пытаются обозначить квинтэссенцию как внутренней, так и внешней политики Петра I, часто используется и западными авторами¹³.

Однако не случайно русская историческая традиция, воздавая должное деяниям Петра, вписывает их в преемственный ряд событий, начавшихся до его рождения и не закончившихся, может быть, по сей день. Ибо отставание от Запада, осознанное еще прежде рождения Петра, остается кошмаром русской государственной, да, пожалуй, и не только государственной, мысли уже четвертое столетие. И столько же длятся попытки модернизации, преодоления отставания. Догоняющее развитие, порождаемые им конфликты внутри общества и его культуры надолго становятся главным стержнем исторической эволюции России. Модернизация *советского* общества в XX веке — не более, чем этап, пусть и очень важный, этой эволюции.

В послепетровской истории России было множество модернизирующих начинаний. Они не прошли без следа, но и не принесли результатов, на которые рассчитывали реформаторы. Во всяком случае, ни одному из них не дано было избавить российское общество от кошмара отсталости. Поражение в Крымской войне спустя всего четыре десятилетия после победоносной войны с Наполеоном, Цусима после четырех десятилетий энергичного, казалось бы, пореформенного экономического развития, неудачи на фронтах Первой мировой войны — пусть и особенные, но неопровержимые признаки постоянно накапливающегося отставания, против которого были бессильны все реформы.

То же повторилось и в советской истории, когда спустя четыре десятилетия после разгрома нацистской Германии страна снова увидела себя катастрофически отставшей. Снова и снова Россия становилась на путь реформ, очередной их виток, казалось бы, сокращал отставание, порождал оптимизм и надежды, они подтверждались реальными успехами и победами, а какое-то время спустя снова обнаруживалось отставание, говорящее то ли об ограниченности реформ, то ли об отказе от них под давлением контрреформаторских сил. Общество как будто сопротивлялось обновлению, отторгало нововведения.

Догоняющее развитие и торможение

Почему же реформы оказывались неэффективными? Может быть, реформаторы неверно понимали отставание и его причины? А может быть, они не вольны были в своих действиях, наталкивавшихся на объективные пределы любой реформаторской активности?

Верно и то и другое. Долгое время отставание осознавалось довольно поверхностно. Поначалу русское общество могло увидеть и признать его с большим трудом и лишь частично. Постепенно критика анахронизмов русской жизни углубля-

¹³ Батгер Х. Реформы Петра Великого. Обзор исследований. М., 1985. С. 34—35.



лась, но поверхностность этой критики полностью не изжита, по-видимому, и сейчас.

Говорить об отставании можно лишь тогда, когда есть возможность сравнивать. В XVII в. такое сравнение было доступно только очень узкому слою людей, в основном связанных с государственной деятельностью и потому имевших какие-то контакты с Западом. Народ же таких контактов не имел и никаких невыгодных для себя сравнений делать не мог. У него были свои повседневные заботы и трудности, но было и обычное для всякого народа убеждение в превосходстве своего, завещанного отцами и дедами образа жизни, своей веры и своих нравов над образом жизни, верой и нравами любых иноземцев.

Отставание, стало быть, если осознавалось, то лишь очень небольшой верхушечной частью общества. Но и она видела далеко не все, а возможно даже и не главные стороны этого отставания, по сути, лишь некоторые внешние его проявления: различия в политическом влиянии, военной мощи, богатстве, жизненном комфорте. Например, С. Соловьев искал истоки петровских реформ в экономическом отставании. «Бедный народ, — писал он, — сознал свою бедность и причины ее чрез сравнение себя с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которым заморские народы были обязаны своим богатством. Следовательно, дело должно было начаться с преобразования экономического»¹⁴. Комментируя эти слова Соловьева, Х. Баггер замечает, что их автор, «судя по всему, рассматривал «европеизацию» не как самоцель, а как средство — прежде всего для стимулирования экономического развития страны»¹⁵. В. Ключевский видел главный движитель реформ в военной деятельности Петра. «Война указала порядок реформы, сообщила ей темп и самые приемы. Преобразовательные меры следовали одна за другой в том порядке, в каком вызывали их потребности, навязанные войной»¹⁶. Снова, стало быть, модернизация — не самоцель, а лишь средство. Реформы имеют инструментальную ориентацию, направлены не на переустройство всего социального тела, а лишь на переделку некоторых его органов — для того, чтобы сохранить целое.

Между тем, отставание было именно в конструкции всего социального тела, оно пронизывало все устройство общества, его экономические отношения, культуру, повседневную жизнь и вязало реформаторов по рукам и ногам, обрекая на успех их самые лучшие начинания. Но для русского общества XVII в. эта мысль была недоступна. Редкость и несистематичность контактов Московского государства с европейскими странами не позволяла глубоко разобраться в существовавших здесь различиях, а сравнительная оценка их намного сложнее, чем оценка военной мощи на поле боя.

Впрочем, главное было даже не в этом. Само понятие «отставание» не универсально. Оно имеет смысл только в системе представлений, которая выстраивает определенную последовательность исторического движения и отождествляет состояния различных обществ с этапами этого движения по единому для всех эволюционному пути. Для XX века такой взгляд

на вещи довольно естественен, хотя и сейчас он разделяется не всеми. Но в России XVII в. он попросту нелепы, поэтому нелепыми и объективное сравнение отечественного жизненного уклада с иноземными. Это были разные миры, каждый из них был дивен другому. Различия не истолковывались в терминах опережения и отставания, не вели к мысли о необходимости наверстывать упущенное.

Можно было признать достоинства немецкого оружия, английского флота, или голландского полотна, попытаться позаимствовать все это у иноземцев и в этом смысле догнать их. Но никому и в голову не могло прийти заимствовать у немцев или англичан их систему экономических отношений, их политические порядки или их веру. Все это в России было свое, и здесь никакого отставания русские не видели, более того, были убеждены в превосходстве своих экономических, политических и религиозных институтов. Поэтому даже у радикального реформатора Петра I Ключевский отмечает «безотчетную склонность воспроизводить в нововведениях отзвуки минувшего»¹⁷ и говорит, что «Петр взял из старой Руси государственные силы, верховную власть, право, сословия, а у Запада заимствовал технические средства для устройства армии, флота, государственного и народного хозяйства, правительственных учреждений»¹⁸.

Между тем отставание в средствах было вторичным, производным. Главное же, глубинное отставание поначалу, в лучшем случае, лишь смутно ощущалось отдельными наиболее проницательными людьми своего времени. Истинные его масштабы и причины оставались неосознанными еще очень долго. Идея исторической эволюции общества отступала перед мифологизацией и канонизацией неизменных черт народной жизни. Как только критика отсталости становилась более глубокой, выходила за рамки отсталости технической, военной, в крайнем случае, экономической и затрагивала основополагающие пласты российской жизни, непонимание российского общества, его ценностную парадигму, она вызывала столь же глубокую защитную реакцию, приводившую к иной системе оценок. То, что у критиков (радикалов, революционеров) выглядело как отсталость, защитниками (консерваторами) прочитывалось как особенность русского общества и русской культуры. И те, и другие были по-своему правы. Консервативная защитная реакция имела свои объективные основания и не позволила бы углубить реформы даже и самому радикальному реформатору.

Простое общество: власть земли

Прежде чем продолжить нашу тему, сделаем небольшое методологическое отступление. Согласно современным представлениям, выработанным особенно благодаря успехам кибернетики, всякое развитие означает увеличение сложности развивающегося объекта, его внутренней дифференциации. Это прослеживается, например, в биологической эволюции, но справедливо и для общества: историческое развитие увеличивает сложность социальных систем. При этом возрастает их

¹⁴Соловьев С. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 30.

¹⁵Баггер Х. Указ. соч. С. 34.

¹⁶Ключевский В. Указ. соч. Т. IV. С. 63.



ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОД



¹⁹Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 185.

²⁰Там же. С. 294, 299.

²¹Маркс К. Капитал//Т. 23. С. 85, 86.

внутреннее разнообразие, что делает систему более гибкой и повышает эффективность ее функционирования. Разнообразие — это достоинство, оно увеличивает число степеней свободы. Но в то же время эффективность управления системой, без которого в ней нарастает энтропия, неупорядоченность поведения отдельных элементов, связывается с *ограничением* разнообразия (широко известны слова У. Эшби о том, что из ограничения разнообразия обычно можно извлечь пользу¹⁹). В свою очередь, ограничение разнообразия в поведении элементов системы требует адекватного разнообразия управляющих реакций («закон необходимого разнообразия»: только разнообразие может увеличить разнообразие; мощность регулятора не может превосходить его пропускной способности как канала связи²⁰).

Мысль о том, что переход от средневековых форм жизни к современным, буржуазным означал и переход к более сложному типу общественной организации, высказывалась задолго до появления кибернетики. Например, К. Маркс писал о древних общественно-производственных организациях, которые «несравненно более просты и ясны, чем буржуазный», и «покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественно-родовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения». Он отмечал также, что в таких организациях «превращение продукта в товар, а следовательно, и бытие людей как товаропроизводителей играют подчиненную роль, которая, однако, становится тем значительнее, чем далее зашел упадок общинного уклада жизни ...»²¹.

По существу, здесь уже содержится как кибернетическая идея о менее сложных и более сложных системах, так и представление о принципиальных различиях управляющих ими механизмов. В простых системах — это непосредственные отношения господства и подчинения между людьми, в сложных — те же отношения, но опосредованные товарной формой продуктов человеческой деятельности, деньгами и рынком. Рынок и есть тот выработанный историческим развитием регулятор, располагающий неограниченным числом «каналов связи», который позволяет ограничивать резко возросшее внутреннее разнообразие социальной системы и упорядочивать ее функционирование в соответствии с внутренними целями системы. Но именно благодаря наличию такого механизма и становится возможным огромное разнообразие видов деятельности, линий поведения, индивидуальных судеб, утверждается свобода индивидуального выбора как основополагающий принцип современного гражданского общества, конституируется само это общество.

Русское аграрное, сельское общество вплоть до XX в. оставалось «простым». Соответственно простыми, а с высоты сегодняшнего дня можно сказать и примитивными, были все его социальные механизмы. Соответствие уровней сложности общества и управляющих его жизнью социальных механизмов обеспечивало целостность и жизнеспособность социума.

Основу такого соответствия многие думающие люди в России конца XIX века видели во «власти земли». С помощью этой метафоры они пытались осмыслить внутреннюю обуслов-

ленность и слаженность жизни русской деревни, того типа отношений и поведения, который господствовал в ней на протяжении столетий.

Глеб Успенский, которому принадлежит выражение «власть земли», видел в ней то организующее начало, что веками управляло поступками всякого крестьянина, было главным «не только по отношению к народному духу, к народной мысли, но ко всему складу народной жизни»²². Люди, из поколения в поколение возделывающие ржаное поле и зависящие от него во всем, не могут жить иначе, чем требует это поле. «У земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые принадлежали бы не земле. Он весь в кабале у этой травинки зеленой»²³. «Для этой травинки, для того, чтобы она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях»²⁴.

Концепция власти земли многое позволяла понять и объяснить в жизни российской деревни, а значит и всего российского общества, по преимуществу крестьянского. Но были у нее и свои границы. Она подчеркивала, так сказать, технологическую связь человека с землей. Между тем, «зелененькая травинка» — пусть и важная, но часть той силы, без которой нет ни народного брѹха, ни народного духа. А чтобы оценить всю эту силу, надо принять во внимание и те невидимые социальные нити, на которых также держалась эта связь.

В силу малых размеров и значительной замкнутости сельской общины, в рамках которой протекала жизнь большинства людей, человек постоянно находился в непосредственном общении с односельчанами, с сельским «миром», жил под его постоянным надзором, был связан со всеми взаимной ответственностью, круговой порукой. В этих условиях главное в механизме социального управления человеческим поведением — внешний контроль, ориентация на неизменное повторение сложившихся образцов поведения, на сохранение фиксированного места человека в строго иерархизированной социальной структуре.

Крестьянин в России жил как бы в самой глубине матрешки: сам он находился внутри семьи, семья — внутри общины, а уж на семейно-общинном основании возводились все остальные этажи русского общества. В середине XIX в. славянофил И. Киреевский так рисовал всю его иерархическую структуру. «Семейные отношения каждого были определены прежде его рождения; в таком же predetermined порядке подчинялась семья миру, мир более обширный — сходке, сходка — вечу и т. д., откуда все частные круги смыкались в одном центре, в одной Православной Церкви»²⁵.

«Матрешечная» конструкция системы общественных связей позволяет сочетать достаточно жесткое вертикальное соподчинение уровней социальной пирамиды с относительной самостоятельностью каждого уровня (это относится и к поземельным отношениям: право на пользование землей как бы распределено между уровнями, ни одному из которых она не принадлежит полностью). Подобная конструкция предполагает иерархию личных зависимостей и персонафикацию всех отноше-

А. Вщиновский
Земля и деньги

²²Успенский Г. И. Собр. соч. В. 9 т. М., 1956. Т. 5. С. 177.

²³Там же. С. 119.

²⁴Там же. С. 176.

²⁵Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 149.



ний, что придает жизни в этой системе «человеческую теплоту», о которой ностальгически вспоминают люди, оказавшиеся в мире городских обезличенных связей.

Но именно по сравнению с этим более поздним и более сложным миром, описанная социальная организация чрезвычайно проста. Отсюда и относительная простота, недифференцированность постигающего социальную реальность общественного сознания, его синкретизм. Такое сознание не ориентировано на понимание внутренней сложности и противоречивости природного и социального мира, оно позволяет видеть мир только целостным, осмысливать его только нерасчлененными блоками. Это — упрощающее сознание, порожденное простотой самого общества. Синкретический менталитет не допускает анализа, социальной самокритики, оценивать для него значит морализировать. Он требует веры, делает возможным истолкование всего сущего только в терминах добра и зла, истинных и неистинных ценностей и т. п.

В полном соответствии с социальной организацией народной жизни и синкретизмом народного сознания находилась и коллективистская система ценностей, утверждавшая в народном сознании первичность Мы и сочетавшая в себе «вертикальный» авторитаризм с «горизонтальным» эгалитаризмом, своеобразным демократизмом, «вечевым» идеалом. Первичность Мы — следствие преобладания внешних регуляторов поведения над внутренними, а значит, и второстепенности Я.

Вечевой идеал носит абсолютистский характер, он признает победу в «битве монологов» (по удачному выражению А. Ахизера²⁶), но не допускает права меньшинства на особое мнение, независимых прав личности. Об этом писал — с несомненным одобрением — И. Киреевский: «В России ... формы общежития, выражая общую цельность быта, никогда не принимали отдельного самостоятельного развития, оторванного от жизни всего народа ... Резкая особенность русского характера ... заключалась в том, что никакая личность в общежительных сношениях своих никогда не искала выставить свою самородную особенность как какое-то достоинство; но все честолюбие частных лиц ограничивалось стремлением быть правильным выражением основного духа общества»²⁸.

Итак, натуральное крестьянское хозяйство, простые общественные связи и примитивные формы их опосредования (личная зависимость), синкретическое мышление, коллективистская и эгалитаристская ценностная парадигма — таковы главные устои русского аграрного общества, гаранты его целостности и жизнеспособности. От них неотделимы социально-психологические черты человека, воспитанного в рамках традиционных деревенских отношений: неразвитость индивидуальной личности, ее растворенность в общине, низкая социальная мобильность, неприязнь к нововведениям, вера в незыблемость твердо установленного порядка и авторитета его хранителей — институционализированных представителей социальной иерархии — от главы семьи, «большака» до батюшки-царя.

Сложное общество: власть денег

Альтернатива «простому» сельскому обществу российского типа — «сложное» западное городское общество. Различия здесь не географические, а исторические.

Уже в наши дни писатель Василий Белов написал книгу «Лад», раскрывающую и поэтизирующую удивительную внутреннюю согласованность традиционной сельской жизни. «Все было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему предназначалось свое место и время. Ничто не могло существовать вне целого или появиться вне очереди»²⁹. Здесь, как и у Успенского, подчеркивается, так сказать, технологическая связь с землей крестьянской жизни. Но ведь если бы все определялось только этой связью, крестьяне были бы везде одни и те же — мысль, которую будто бы высказал М. Горький и к которой с большим сомнением отнесся Ф. Бродель³⁰.

В самом деле, рожь издавна возделывали не на одной только Русской равнине, она была хорошо знакома и западноевропейскому крестьянину. Почему же там власть земли была не такой, как в России, и крестьяне, и горожане жили как-то по-иному, заставляя россиян все время переживать собственную отсталость?

Причины несхожести крестьян и крестьянской жизни, а позднее и некрестьянских обществ на западе и на востоке Европы, глубинные корни длившейся не один век российской отсталости — прежде всего в давних различиях поземельных отношений, принципов, на которых строилось крестьянское пользование землей — главным средством производства и главным богатством аграрных обществ. В XVI столетии, когда впервые обнаружилось наше отставание, эти различия уже были, впоследствии сохранялись, а может быть даже и увеличивались. Влияние их не исчезло и по сей день.

В Западной Европе XVI века, конечно, нельзя еще говорить о частной собственности крестьян на землю. Но движение к ней идет неотвратимо. Обычная норма — наследственное пользование наделом и его неделимость при наследовании (как правило, одним из сыновей). Барщинная система уже к XIV—XVI векам постепенно вытесняется; суживается и сфера натурального оброка. Крестьянин мало-помалу выбирается из социальной матрешки, все теснее напрямую связывается со своим неделимым наследственным наделом, дорожит им, у него есть основания заботиться о благоустройстве своей земли, об улучшении агрокультуры.

В России в это время — в XVI в. — все по-иному. Здесь, по словам В. Ключевского, «мы имеем дело с бродячим и мелко разбросанным сельским населением, которое, не имея средств или побуждений широко и усидчиво разрабатывать лежащие перед ним обширные лесные пространства, пробавлялось скудными пахотными участками, и сорвав с них несколько урожаев, бросало их на бессрочный отдых, чтобы на другой целине повторить прежние операции»³¹. Крестьяне не привязаны к своим наделам, и это лишает их стимулов к улучшению агрокультуры, к тому, чтобы становиться собствен-

²⁶ Ахизер А. С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991. Т. I. С. 62.

²⁷ Там же. С. 63.

²⁸ Киреевский И. В. Указ. соч. С. 286—287.

А. Вишневский
Земля и деньги

²⁹ Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. М., 1989. С. 6.

³⁰ Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV—XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М., 1988. С. 247.

³¹ Ключевский В. Указ. соч. Т. II. С. 310.



никами или, по крайней мере, долговременными пользователями земли, заботиться о ее неделимости.

При этом Россия и движется совсем не в том направлении, что ее западные соседи. Здесь — настоящая пропасть между ними, главное проявление исторического отставания. В ту пору, когда на западе Европы насильственное прикрепление земледельцев к земле, барщинный труд, личная зависимость крестьян все более становятся вчерашним днем, для России крепостное право, то, что Ф. Бродель называл «вторичным закрепощением», еще только будущее. На западе Европы всю развиваются рынок и рыночные институты, денежное обращение, аренда земли за деньги почти полностью вытесняет ипотеку. Земля все чаще продается и покупается, цены на нее растут. Растет и ипотечная задолженность крестьян, старающихся удержаться на своих — хотя и не собственных — наделах. Власть земли уже далеко небезраздельна, она очень сильно потеснена властью денег, и эта новая власть взломала скорлупу сельского мира, разрушила его замкнутость, втянула человека в сложные и многообразные социальные связи, какие прежде ему и не снились. Идея крестьянской собственности на землю просто стучится в дверь, жизнь сама готовит Кодекс Наполеона.

Не то на востоке Европы. Здесь расцветают барщина и натуральный оброк, вместо наследуемых неделимых крестьянских наделов утверждается система семейных разделов и уравнительных переделов земли внутри общины. Крепостной крестьянин — это, конечно, уже не тот «малоусидчивый землепашец» XVI в., о котором писал Ключевский³², а все равно он еще очень далек от европейского наследственного землепользователя. И даже столетия спустя, после отмены крепостного права, уже на пороге XX в. идея наследственного землепользования, а тем более частной собственности на землю не вызрела в российском обществе, казалась чем-то инородным в русской деревне.

По-видимому, следует внимательно вдуматься в мысль Броделя о том, что пути развития Западной и Восточной Европы во второй половине нашего тысячелетия не были независимыми. «С начала XVI в. конъюнктура с двоякими, а то и тройными последствиями обрекла Восточную Европу на участь колониальную — участь производителя сырья, и «вторичное закрепощение» было лишь более всего заметным ее аспектом ... «Вторичное закрепощение» было оборотной стороной торгового капитализма, который в положении на Востоке Европы находил свою выгоду, а для некоторой своей части — и самый смысл существования. Крупный земельный собственник не был капиталистом, но он был на службе у капитализма амстердамского или какого другого орудием и соратником. Он составлял часть системы»³³. Если эта мысль верна, то догоняющее развитие России — свидетельство отнюдь не каких-то политических или военных амбиций, а просто следствие того, что она давно уже стала частью системы, была прочно вовлечена в орбиту капиталистического развития Европы и начала жить по принципу «недоедим да вывезем» задолго до того, как этот принцип был сформулирован в явном виде в конце XIX в.

³² Ключевский В. Указ. соч. Т. 2. С. 329.

³³ Бродель Ф. Указ. соч. С. 259, 264.

Так или иначе, но на Западе власть земли даже и в деревне уже не одно столетие не такая, как в России. Она очень сильно потеснена властью денег, крестьянин в гораздо большей степени чувствует себя хозяином земли, нежели ее подданным.

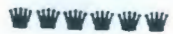
Но может быть еще важнее то, что такая деревня открывает путь для более глубокой трансформации всего общества, для его превращения в городское, рыночное. Рынок, деньги, существовавшие с незапамятных времен, получают новую жизнь и оказываются тем средством, которое позволяет разорвать прямые межличностные связи и заменить их связями опосредованными. Производитель и потребитель, которые прежде, как правило, лично знали друг друга, теперь могут никогда не встретиться — рынок и деньги свяжут их между собой. Это делает жизнь в городском обществе анонимной, внешний надзор за каждым — невозможным. Чтобы общество не вверглось в хаос, нужны какие-то новые регулирующие механизмы, и они действительно вырабатываются новой общественной практикой.

Вместе с городским социальным пространством получает небывалое развитие и внутреннее пространство личности городского человека, его самосознание, способность к рефлексии, к нравственному и эмоциональному переживанию и т. д. Как отмечал Г. Зиммель, «город приобретает совершенно новую ценность в мировой истории менталитета ... Освобожденные от исторических связей, люди хотя теперь отличаться один от другого. Каждый индивид уже не «человек вообще», и именно качественная уникальность, неповторимость характера составляют теперь основу его ценности»³⁴.

Все это и делает возможными, более того, необходимыми новые принципы социального управления человеческим поведением. Внешний контроль все больше уступает место самоконтролю, «стыд» перед другими при нарушении общественных норм — внутренне переживаемой «вине». Поведение людей регулируется теперь «изнутри» гораздо больше, чем «извне», и такой способ регуляции воспринимается ими как свобода по сравнению с несвободой в условиях деревенской внешней цензуры. Так получает новое звучание средневековая максима: «воздух городов делает человека свободным».

Вместе с городским (и рыночным) социальным пространством — намного более сложным и дифференцированным, чем сельское, — получает небывалое развитие и внутреннее пространство личности, ее самосознание, способность к рефлексии, к нравственному и эмоциональному переживанию и т. д. Человека перестает удовлетворять синкретическое мировосприятие, его отношение к миру становится все более критическим, поведение — все более избирательным. «Цензор», в роли которого всегда выступало непосредственное социальное окружение, перемещается внутрь нас, и мы совершаем — или не совершаем — те или иные поступки не потому, что ищем одобрения или боимся осуждения соседей, а потому что можем опереться на свое внутреннее убеждение, на усвоенную в ходе социализации развитую систему ценностей. «Внешний» социальный контроль, разумеется, не исчезает начисто, но его роль резко ослабевает. Людям становится тесно в рамках

³⁴ Simmel G. Métropoles et mentalité. — In: Yves Grafmeyer et Isaac Joseph, L'école de Chicago. Paris, 1984. P. 76.



традиционных «сельских» институциональных регуляторов, и не потому, — или не только потому, — что они не обеспечивают достаточных богатств или военной мощи стране, но и потому (может быть, в первую очередь потому); что они — просто как люди, как частные лица — выросли из старых институциональных одежек. Модернизация из заботы государственной становится заботой личной, вопросом жизни и смерти каждого, и каждый выступает как ее агент. Так совершается переход к новым принципам социального управления, а значит, и к новому типу общества.

По сравнению с прежним сельским обществом, оно гораздо более гибко, открыто для нововведений, а потому и более эффективно — прежде всего потому, что воспитывает новый тип личности, более универсальной и инициативной, чем прежде, потенциально способной овладеть небывалым многообразием внешнего мира, включиться в новую более сложную систему общественных отношений.

Наивно пытаться догнать такое общество, сохраняя прежние, «сельские» механизмы социального управления. Сколько ни пытайся добавить к серпу молот, превратить общество из аграрного в индустриальное, сколько ни строй городов, без кардинальной смены механизмов социального управления оно будет оставаться сельским и застойным.

Стало быть, догоняющее развитие может принести успех лишь в том случае, если оно приведет к смене качественного состояния общества, переходу от «сельского» к «городскому» его типу. Но этот скачок непросто, его нельзя совершить, не пережив тяжелейшего кризиса старого общества, избежав жесточайших конфликтов между тем, что должно исчезнуть, и тем, что идет ему на смену. В полосу таких кризисов и конфликтов Россия вступила давно, к концу XIX — началу XX века они достигли огромной остроты и сделали неизбежным событие огромного исторического значения — Русскую революцию.

Кризис русского аграрного строя: от власти земли к власти денег

Сколько бы ни говорилось об отсталости дореволюционной России, сама по себе отсталость — еще не свидетельство кризиса. Кризис — это характеристика внутреннего состояния общества, напряженности противоречий, возникающих вследствие рассогласования его основ. Такое рассогласование началось давно, еще в допетровские времена, и нарастало постепенно, по мере новых попыток и новых неудач модернизационных реформ. К концу XIX века оно охватило значительную часть общества, затронуло все его слои.

Решающее значение имело то, что подошли к своему историческому пределу недавно еще вполне жизнеспособные в России формы деревенской жизни. В деревне, особенно после отмены в 1861 г. крепостного права, складывались мощные экономические и социальные силы, ломавшие их вековые устои. Со все возрастающим ускорением здесь шла смена власти: власть земли уступала место власти денег. Новая власть тре-

бовала и новых форм общежития. Страна двигалась к ним медленно, ощупью.

Стремительно нараставшее разделение труда, развитие промышленности и торговли, некогда преобразовавшие Западную Европу, во второй половине XIX века докатились и до России. Роль земледельческого труда как единственного источника существования для большинства народа стала падать на глазах, и столь же быстро стала расти роль рынка. Власть денег буквально ворвалась в жизнь деревни. И первое, что сделала эта безликая власть, — она стала разрушать вековой лад крестьянской жизни. Литература второй половины прошлого века наполнена примерами наступившего разлада. Вот один из них, заимствованный у Успенского.

«Разлад этот, начавший проникать в семейство, как и во все русские деревни, по мере того, как в деревню сделался возможным доступ заработка не исключительно земледельческого, тронул описываемое мною семейство уже довольно давно. Покуда семья эта была исключительно земледельческая, совместная общинно-семейная жизнь была всем понятна: все работают одно и то же дело, все потребляют вместе выработанный продукт, все озабочены одной и той же заботой — успешностью земледельческого труда. Все ему подчинено, и подчинение это всякому члену понятно ... Теперь же ... почти все, не исключая и самого старшего брата, более или менее расшатаны уже в нравственных основах. Первая расшатывающая новость новых времен — это упразднение сознания рабства, принадлежности другому человеку, барину. Эта новость, самая лучшая из всех, какие только ни посещали семью в последние годы .., тотчас же была заменена неудобною новостью, урезкою угодий, земли ... Земли стало меньше, но времени для ее обработки прибавилось, а вместе с тем получился остаток сил, прежде поглощавшийся исключительно земледельческим и своим и барским трудом. Этот остаток сил не остался праздным и немедленно же пошел в обиход. Один из средних братьев поехал в Питер в зимние легковые извозчики; другой, тоже средний, сделался лесником и стал получать жалованье, а вместе с заработками того и другого началось и разрушение стройности земледельческого семейного союза... Всей этой разлады невозможно изобразить во всей полноте»³⁵

Уже эта краткая зарисовка позволяет с очень близкого расстояния увидеть перемены во внутренней жизни крестьянского двора, порожденные развитием в России торговли и промышленности и все более глубоким проникновением новых хозяйственных отношений в деревню. В литературе конца прошлого века подобным свидетельствам несть числа, и все они говорят о том, что деревня была бессильна противостоять нарастающему натиску рубля. «...Власть денег — писал В. Ленин, — всей своей тяжестью обрушилась на нашего крепостного мужика. Доставать деньги надо было во что бы то ни стало: и на уплату податей, увеличенных благотельной реформой, и на наем земли, и на покупку тех нищенских продуктов фабричной промышленности, которые стали вытеснять домашние продукты крестьянина, и на покупку хлеба и проч.»³⁶

³⁵Успенский Г. И.
Собр. соч. Т.
4. С. 447—450.

³⁶Ленин В. И.
Полн. собр.
соч. Т. 4.
С. 395—396.



37 Milioukov P.
Op. cit. P. 323—
324, 326.

Об этом же в несколько иной тональности писал и Миллюков: «Положение стало особенно серьезным из-за нарастающей скорости перехода от аграрной к индустриальной фазе. Причины нарастающей скорости перехода, от, так сказать, «домашнего» «натурального хозяйства» к «обменной экономике» многочисленны и достаточно сложны. Самые важные из них — быстро растущие потребности государства и положение России среди экономических более развитых наций, с которыми она вынуждена соперничать на мировом рынке. ... Покупки, которые русский крестьянин вынужден делать на рынке, неизбежны. Увеличение его расходов на питание, освещение и т. д. отнюдь не означает роста благосостояния, напротив, это признак обнищания»³⁷.

«Смена власти» в деревне должна была иметь для нее, а значит, и для всего общества огромные последствия. Они сразу же проявились, быстро нарастали, всем ощущались. Главное и общее заключалось в том, что впервые появилась сила, разрушающая монолит крестьянского общества изнутри. Виртус денег, проникнув в деревню, лишил ее векового иммунитета, втянул в модернизационный процесс, которому она прежде противостояла как чему-то чуждому, наносному. Деревня стала не только объектом, но и субъектом модернизации. С этого времени русское аграрное общество вступило в полосу общего необратимого кризиса.

Мало-помалу приходило и осознание этой необратимости, неизбежности глубинных перемен. Теперь отсталость России воспринималась уже не сама по себе, не в ее частных проявлениях в экономике, образовании или военном деле. Объектом критики становится все устройство российского общества, отсталость которого видится как внутренне присущая ему черта. Ее преодоление требует чего-то большего, нежели приток капиталов, развитие внутреннего рынка, увеличение числа специалистов и т. д. Нужна перестройка всей системы отношений, воззрений, институтов, замена основной ценностной парадигмы российского общества. Ибо чем более оно модернизировалось, тем яснее становились пределы модернизации, доступной тогдашней России. Ее успехи лишь частично уходили корнями в собственную российскую почву. Многие были заимствованы, перенесены с Запада или выросло в среде отечественной верхушечной элиты и не находило должного отклика в массовом общественном сознании и поведении россиян.

Для дальнейшего развития капитализма, роста торговли, денежного обращения, промышленности, городов, образования и т. д. нужны были изменения самой «почвы», чтобы она могла самостоятельно питать все новые и новые экономические и прочие успехи страны. Задача преодоления отсталости слилась с задачей полного пересмотра экономического и социального строя, смены типа общества.

Власть земли должна была окончательно уступить место власти денег, феодально-общинная собственность на землю — частной. Средневековые сословные институты должны были пасть под натиском институтов гражданского общества. Инди-

видуалистическая ценностная парадигма должна была сменить прежнюю авторитарно-эгалитаристскую. На смену средневековому синкретическому должен был прийти рационалистический и утилитаристский менталитет.

Такие перемены и означали бы создание новой «почвы», конец отсталости, переход от «догоняющего развития» просто к развитию.

Но какая судьба ожидала в этом случае старую почву? Над ней нависла смертельная угроза. А ведь основанная на ней старая система отношений все еще сохраняла в России немалую жизнеспособность и силу, подкреплялась тысячелетней традицией, православной верой, мощными контрфорсами народной культуры. Конфликт двух почв, старой и новой ценностных парадигм, старой и новой культур, уходивший корнями чуть ли не во времена церковного раскола, стремительно разрастался, проникал в каждую клеточку российского общества, разрушал ее, требовал переоценки ценностей, пересмотра многих основополагающих воззрений и норм поведения, замены или обновления институтов, переделки всей жизни. Экономические успехи только обострили этот конфликт, демонстрируя эффективность новых жизненных принципов и обесценивая тем самым прежние. По существу, на рубеже XIX и XX веков в России сошлись в смертельной схватке два взаимоисключающих способа организации социальной жизни людей — в этом и заключалась суть охватившего русское общество кризиса. В конце концов его развитие привело к социальному взрыву огромной силы, за которым последовали три четверти века существования советского общества, продолжавшего ту же линию модернизации и догоняющего развития, которая оформилась еще в петровские времена.

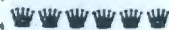
Век спустя: новый кризис

Сейчас Россия подводит черту под советским этапом своей истории и вступает в новый ее этап — снова в обстановке кризиса. Этому, пожалуй, не следует удивляться.

Модернизация — сегодня, как и триста лет назад, — не просто обновление. Это — борьба между двумя эпохами, двумя способами существования, двумя типами общества. Деятельность Петра вполне может быть охарактеризована словами Ленина: «...упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества»³⁸. В этих словах, сказанных о диктатуре пролетариата, Ленин выступает как пророк модернизации, понимаемой именно как борьба.

Но модернизация-борьба (возможна ли иная?) не может быть бескризисной. Она раскалывает общество и порождает силы противодействия, что очень сильно отражается на самих модернизационных процессах. В СССР на многих направлениях они шли весьма интенсивно, но в целом оказались крайне противоречивыми, непоследовательными и не смогли разрешить ряды важнейших проблем, порожденных кризисом рос-

38 Ленин В. И.
Полн. собр.
соч. Т. 31.
С. 27.



сийского аграрного общества еще в конце прошлого века. К середине 80-х годов века нынешнего тупик, в который снова зашла страна, стал совершенно очевидным.

Осознание масштабов нерешенных вопросов, их многочисленности подводило как «верхи», так и «низы» общества к пониманию необходимости перемен. Любопытно, что практически все диагнозы — от самых мягких и щадящих до крайне резких и шокирующих — исходили из того, что страна переживает какой-то необычный, особый момент своей истории, связанный с тем, что она шла по совершенно особому пути. Одни говорили об этом с гордостью и связывали кризис с ошибками первопрходцев, с трудностями построения «нового общества». Другие, напротив, все сводили к тому, что страна свернула со столбового пути мировой или своей собственной цивилизации и теперь расплачивается за это. Никто не вспоминал, что даже само слово «перестройка» было отнюдь не новым в политическом словаре, употреблялось еще Ключевским, когда он описывал настроения московских верхов времен царя Алексея Михайловича, отца Петра I. По словам Ключевского: они испытывали затруднения, состоявшие «в невозможности справиться с насущными потребностями государства при наличных домашних средствах, какие давал существующий порядок, т. е. в сознании необходимости новой перестройки этого порядка, которая дала бы недостающие государству средства»³⁹.

Но был ли кризис советского общества, который подвел страну к необходимости перемен, обозначаемых по крайней мере на первых порах, термином «перестройка», и в самом деле чем-то из ряда вон выходящим? С точки зрения его влияния на судьбы мира, это пожалуй что и так. Но с точки зрения многовековой российской истории, это, скорее, рядовой этап развития, хотя и имеющий свои яркие особенности.

Западные страны тоже прошли не через один кризис, прежде чем достигли нынешнего уровня развития, тоже, кстати сказать, не бескризисного. Но в российской истории последних столетий, по необходимости, было много заемного, искусственного, что, конечно, усиливало дисгармонию развития. Советский период не принес в этом смысле ничего нового, кроме, разве что, особой, даже более сильной, чем прежде, убежденности в необыкновенной исключительности избранного Россией пути. Находясь в плену этой убежденности, страна пыталась осуществить неосуществимое, 70 лет шагала одновременно в двух противоположных направлениях. Делала шаг в сторону конвергенции с Западом — и тут же в противоположную, избегая одних конфликтов, готовила себе другие, еще более опасные. Настал момент, когда двигаться таким образом далее стало невозможно.